

Михаил Сопин

РЕЧЬ О РЕКЕ

Литературная запись

Галины Щекиной

Вологда
2005

С о д е р ж а н и е

Татьяна Сопина. Чтобы временем не смыло	3
Михаил Сопин:	
Поток первый. Почему?	5
Поток второй. Солдатство	9
Поток третий. Кого и за что?	12
Поток четвертый. Через черту	17
Поток пятый. Рывок из дискомфорта	22
Галина Щекина. Горькая поэма	27

Чтобы временем не смыло

При жизни поэта были две попытки запечатлеть его образ – это сделали Вера Белавина в документальной повести «Нет, жизнь моя не горький дым» и Галина Щекина в литературной записи «Речь о реке». Последняя относится ко второй половине девяностых годов. Не избалованный вниманием, Михаил охотно отвечал на вопросы, рассказывал о себе, о процессе творчества. Это происходило у нас дома или на улице. Помню длительную беседу в беседке детского сада...

Галина старалась записывать точно, однако здесь была сложность. Дело в том, что муж не относился к тем, кто сразу гладко чеканит мысли – как это, к примеру, случается с крупными руководителями. Его мышление – всегда процесс. Он нуждался в собеседниках, выстраивал свой внутренний мир, он ведь «пахал по целине». Тем не менее, в стихотворную строку процесс никогда не выходил (стихи по наитию как «поток сознания» Михаил вообще не признавал). Он очень строго и уважительно относился к печатному слову. Все лишнее отсекалось в процессе работы.

Брать интервью или записывать за ним было... «невозможно» (выражение Г. Щекиной). Он мог долго «буксовать» на одном и том же, а потом, перескакивая через какие-то ему одному ведомые хребты и долины, говорить совсем о другом. Так он нащупывал нить к парадоксам и откровениям, поражающим в законченных произведениях.

Мне самой не раз приходилось работать с мужем. Говорит – я записываю. Прочитываю... Все, говорит, не так. Начинает поправлять, увлекается, и получается совсем другая запись. Так может происходить пять-шесть раз, и все разное. В каждом варианте что-то ценное новое, что-то потеряно. Выстраиваю, убеждаю... А он все не удовлетворен. Лучшие бы,

конечно, чтобы он сам сформулировал, как хочет, но тогда это уже станет стихами.

Отсюда – известная рваность документальной записи «Речь о реке», которая автором повести удачно разделена на «потоки». Щекина хотела представить поэта как стихию, и ей это удалось.

Образ узнаваем. Хорошо ощущаю за строчками образ мужа – его манеру изложения, даже голос как будто слышу, вижу жесты.

Однако при подготовке к публикации я произвела редактирование. При жизни Михаила запись была прочитана у нас дома, не на все муж дал согласие. Исключены также исторические и биографические несоответствия.

Татьяна Сопина.

Поток первый:
ПОЧЕМУ?

Жизнь состоит из циклов от рождения до смерти... Под этим я подразумеваю то, как пишу. Стихи - это то, что я понял и что надо сформулировать. И я ищу, как это сделать. Это своеобразная ниша для перегруженного сознания, постоянные изменения, цепь их - процесс. Так идет анализ сущего.

Я всегда расшибался и расшибаюсь о нежелание людей думать, анализировать. Мое спасение было именно в привычке анализировать. И я пытался говорить об этом, но редко встречал вездвидные глаза... Наталкивался на глухоту, на ненависть. А во мне уже было всего до отказа, и я хотел на равных. После столкновения во мне все перегорало, и оставалась только жалость. И чем они плоскоглазее, тем их жалче. Но на границе перегруза снова начинались «сумленья» - не идет баланс, когда уходишь от деления на черное и белое.

Чем больше пишу, тем сильнее ощущаю свое неумение. Поневоле возвращаюсь к началу пути. Вот и происходит цикл возрождения, новое рождение.

Я с печальной улыбкой смотрю на зеркального мальчика Сопина. Мы с ним разные люди. У меня идет вечное рождение, я оглядываюсь, смотрю. Мы идем на разлет, отдаляемся.

Я родился сверхэмоциональным, и это навсегда окрасило меня барьером страха. Жизнь вливалась в меня до отказа, одно вытесняло другое как при сосисочной набивке.

... Запомнил слом тридцать седьмого года. Постоянно висящее солнце, которое слепило, но не грело. Мне шел седьмой год, мы с пацанами всюду играли во врагов народа. До тех пор, пока после вызова на второй допрос не исчез отец.

Я был тогда маленький, но не отношу себя к тем, кто говорит, что ничего не знал. Трагедия висела над отцом долго, от детей уже ничего нельзя было скрыть. Ночные разговоры взрослых мешали нам спать. Наверно, отец чувствовал конец, и эти ночи были для него попыткой продлить жизнь. Он запил. Такого раньше не было - серьезный выдержанный человек, военпред на Харьковском танковом

заводе. Он пил, сжимая в руке партбилет, потом плакал... В первый и последний раз я видел отца таким... Умудрен я потом стал, научился водку пить – «питие мое», но тогда меня это раздавило. Мы с отцом были неразъемны как формула... Он исчез (был арестован), но вернулся... а вскоре «скончался от скоротечного распада легких». Какой там распад? Здоровый, сильный мужик. Даже я, ребенок, не мог поверить в такую «скоротечность».

Отец да дед были у меня большевики, но вообще у нас в семье было наворочено - дроздовцы, махновцы... У бабушки было шестеро братьев, они носились на конях, свирепели, врываются, друг к другу с оружием. Однако при бабушке не смели.

Один из дядей – красный комиссар (бывший белый) и другой, служивший при немцах в полиции - меня учили добивать людей в ухо. Чем было спастись от такой отравы? Беременеть начинкой и смирать ее до тех пор, пока не взорвется?

В 1939 году арестовали родителей моих друзей по двору. Детей осталось трое: два мальчика и старшая сестренка лет четырнадцати-пятнадцати, в которую я был тайно, до рыдания, влюблен, так что родители, посмеиваясь, обещали нас поженить.

Ребята остались одни, и я таскал им хлеб пеклеванный, был такой хлеб очень вкусный, я сам его очень любил. И вот совершенно необъяснимо для самого себя (тогда! сейчас-то я понимаю, это было гипертрофированное чувство сострадания) я пошел к магазину и у входа-выхода стал просить милостыню, крестясь и кладя поклоны. За этим занятием меня обнаружила наша учительница Ксения Михайловна Мухина. Человеком для пацанвы она была добрым, но время было злое. И вот на очередном поклоне я ощутил невыносимую, зверскую боль - она крутила мне ухо, не просто крутила, а рвала остервенело, что-то приговаривая при этом. Сейчас я думаю, что, причиняя мне страдания, она хотела избавиться от чего-то в самой себе. Может быть, она перед кем-то или перед чем-то сама вела себя так же, как я, кланялась, заискивала, только втайне.

Я рыдал без слов, с болью и внутренней сладостью - страдаю для ребят, - от сопричастности, что ли... Гипертрофированное сострадание-крестный знак нашего рода, может не у всех, но у кого-то, над кем-то он был. Дед Никита, более-менее безболезненно пройдя процедуру раскулачивания ни с того, ни с сего стал оговаривать себя, распускать молву, что у него припрятано про черный день. Плевать он хотел на коммунаршиков, хватит и на приобретение нового

хозяйства и на то, чтоб голодрань беспортошную, этих лодырей скупить с потрохами...

Был взят, доставлен куда надо, зверски бит шомполами. Когда били, поднимал голову и кричал: «Объединяйтесь, пролетарии, над бездной кровавой, перед гибельной дорогой». Об этом рассказывала бабушка. А на ее вопрос: «Зачем ты дразнил их, зачем выкрикивал, обозлял?» отвечал: «Молчать, опускать голову, закрывать глаза надобно тогда, когда устанут пилатствовать, а пока бьют, в глаза глядеть надобно, так разумею». Прожил он после этого один день.

Все мешалось... Семнадцатый год был для меня романтикой, комиссар все равно что святой, но благодаря родне я никогда не мог принять окрас - разделение на красных и белых. В числе моих сверстников выкалывал глаза маршалам Егорову и Тухачевскому. А в сорок втором при немцах время словно опрокинулось на полвека вспять. Открылись церкви, я присутствовал на крещенском водосвятии.

Как приблизить груз яда и противоядия? Ведь все сущее в нас и из нас.

Самое опасное - не давать отчет будущему. Мы можем минировать память и неосознанно программировать идиотизм наших близких... Любое непродуманно выплюнутое слово способно разрушить человека. Наша несуразность и скотскость материализуются и наполняют эфир. Может, мы не чувствуем, но они носятся там, эти гадостные токи. Еще немного, и наука научится их улавливать. Выходить на них, как на обычные волны. Когда я начинаю в компании так говорить, собеседникам становится опасно: «Раз ты этакий, иди на...» Они не хотят такого русла и вот-вот хрястнут меня. Я ухожу обижаться...

Я болен отличием от других. Ну и что, если они вурдалаки? Их тоже запрограммировали - так же, как вас, как и меня. Чего ж мы цапались-то? Приятель Леша был вместилищем своих и чужих идей, в том числе и вредных для него, но когда на него покушались, бесился. («Дай правую руку!» - «На, только дай выпить, больно же...»)

Я находил и терял людей глазами. Бородулин на поселении говорил: «Не переносу плотность населения и коллективность в любом виде». Но ведь человек живет не ради постижения кого-то одного человека или даже группы, а вообще для всего мира. Он должен хотя бы стараться понять - что произошло. Почему нет, а не да?

Я не знаю, хорошо им или плохо, и это меня сдерживает... А когда пишу, думаю - не боюсь ли быть обкраденным?

В двадцать четыре года стал писать дневник. Перечитывал и понимал - пора чистить, выгребать утробную грязь. Она может рвануть, переполнив... Судил я тогда обо всем позиционно, на мне было давление нашей «культуры», то есть халтуры в виде культуры.

Партийное сумасшествие тоже сделало свою злую работу, утвердив рабоче-крестьянский метод бытия и мышления. Лишь бы на крестики-нулики все разделить... Брел по пояс в общественном дерьме, ерошился.

Почему стал писать? Однажды мне на встрече задали тот же вопрос. Я сказал - а почему Саманта Смит писала президенту? Почему? Вам не приходило в голову, что газовые камеры применять необязательно? Можно духовно сдохнуть без камер.

Пионер Советского Союза, я разрывался на части: чем сильнее искал человека, тем глубже забирался в ров. Отсюда моя любовь и дружба. Как только случалась вспышка понимания - это дорого! - начинал чувствовать разлуку. Мной «объедались» женщины в любви, а мужики в дружбе. Процедура контакта ощущалась мною как в первый и последний раз, и они уставали. Вслепую я это делал или специально? Говоря по земному: жалко иметь близкого близко...

В детстве я много прополз по скверне войны. Были и друзья, но всегда старше меня. Детприемники, окружения, бомбардировки... Выводил наших через немецкие территории. Рос плохо...

Видел ли эсэсовцев? Здесь дело не в форме, серая она или зеленая. Тот, кто бьет меня до хруста и писанья кровью, тот и эсэсовец.

Я пил пацаном спирт. Видел смерть обрубков людей. Наверно, понимал солдатиков, потому и жизнь врага, и нашу жизнь видел с изнанки. И тех, и других бросили в военную мясорубку, чтоб она задохнулась. Я ничего не выискивал, просто был повергнут, мордой в этот ткнут, потому что изначально был приговорен к тому, кому хуже. К пристреливаемой лошади, к перееханной собаке... По телевизору всегда болею за тех, кто проиграл. Такая природа.

Жалел наших, немцев, много было хороших немцев, которые перестрадали. И потому стал понимать: война - это расплата за скотскость, за то, что общество не может сказать «хватит».

Поток второй:
СОЛДАТСТВО

После гибели отца нас с сестренкой увезли в деревню к бабушке. Потом - война.

У нас во дворе частями Красной Армии были прорыты профильные окопы, потом брошены. Окопы ошибочно выкопали за избой, а дом таким образом оказался на линии огня. Начались тяжелейшие бои. Однажды во двор заскочили двое молоденьких солдатиков и прямо перед окнами стали устанавливать пулемет, но никак не могли его заправить.

Бабушка выскочила из избы с поленом: «Куда ставите, сейчас начнут бить по хате, а здесь дети малые!» Велела тащить пулемет на угол двора и там сама заправила пулеметную ленту.

Когда начинали бить орудия, мы с Катериной бежали прятаться в погреб. Бомбежки продолжались по трое-четыре суток... Я был в зачумленном состоянии. Когда сутками напролет бомбят, перестаешь испытывать страх за жизнь - безразличие полное. Хотелось спать. Я не думал, убьют ли меня, закрывал маленького братишку Толика, он тогда живой был.

В таком состоянии солдаты, измотанные, спят прямо в окопах. Сейчас это совершенно не может быть понято... Скорее бы бомба попала, кончились муки.

Как сейчас вижу солдатика с оторванной рукой: он сидел, привалившись к избе, обнял уцелевшей рукой остатки пустого рукав и раскачивался из стороны в сторону... Не знаю, отдавал ли себе отчет в происходящем.

Между Ново-Борисовкой и Хотмыжском были двойные-тройные переходы наших и немецких войск. Подолгу лежали волдыреобразные тела советских солдат, подступы к Ломному были усеяны ими. Наши врвались в какофонию бомбежек и, случилось, обстреливали свои же позиции...

Проходила РОА-русская освободительная армия (будущая вторая ударная) Власова, кто-то присоединялся, но матерей вступивших в РОА не преследовали. Люди настолько были подавлены трагедиями - у каждого своя! - что не способны были клеймить.

Диковинна судьба РОА. Она создавалась из военнопленных, но это не значит, что там были сплошь головорезы... Она сражалась на стороне немцев, но не все на нее смотрели как на врагов. Она называлась ударной - может быть, чтобы принять удар на себя? Борис Гусев, бывший солдат сорок первого года, бывший власовец и заключенный, однажды внушал мне мысль, что надо было вести дневник создания партизанского движения в Белоруссии. Он считал, что власовцы были рождены войной как козлы отпущения - переодетые в немецкую форму, они вырезали население, запугивали его и подталкивали вливаться в партизанское движение. Фактов на этот счет у меня нет, но разговор такой был.

Когда мы бежали из-под Харькова, в одной массе солдаты, дети, женщины, старики.... Если бы нас тогда остановили, мы бы, наверное, умерли на месте. Фашисты нагнали нас, утюжили танками. Разорванные, раздавленные дети... Мне череп проломило осколком, спас какой-то военный, замотав голову тряпкой и пихнув в товарный вагон в районе Богодухова. Я валялся там на опилках весь в крови. Растолкала старушка, снова шли в толпе... Уперлись в реку, горел мост. Солдаты наспех сколачивали плоты, на них прыгали люди с детьми, плоты переворачивались. И все это под бомбежкой...

Я видел бег исхода и беспомощность армии. Немой плач, как на картинах Чурлениса серии «Похороны». Там есть траурная процессия - длинная вереница, которая теряется у горизонта, люди идут к солнцу, символу жизни, и прощаются с ним. А потом, когда солнце заходит, оставляя кровавые отблески, сияние исходит от самой процессии, от людей. Все выше в гору тянется шествие, выше и выше во тьму, будто огромный сверкающий уж... уходит, чтобы исчезнуть.

Водить через фронт военных - это было естественное внутреннее состояние, как дыхание, потому что это была армия, которая - я. Где шли бои, какого масштаба - знала бабушка,

деревенская маршалюга. Она и втянула меня: посылала переводить через линию фронта окруженцев. Мы, ребяташки, хорошо знали окрестности, кустики, овражки, буераки. Выводил два раза.

После сорок второго пришла другая армия, армия-победительница, но любовь моя осталась там - в сорок первом.

Солдаты сорок первого года, восходящие на алтарь грядущей Победы - они во мне. Не знаю, кто они, но получаю от них оценку тем, кто остался жив. Я смотрю их глазами, вижу, как они смотрят. Их место на земле осталось пустым, и поэтому в День Победы нет у меня в душе ни торжества, ни гордости.

До сих пор не понимаю, как выжил... остался жив. С тех пор ненавижу слово «выжить», допускаю только слово «жить!», ведь «выжить» - подразумевается любой ценой. Какой ценой выжили в тридцать третьем, когда мои родители бежали от голода с Курщины? Какой ценой выжили в тридцать седьмом? Или в войну? Часто ценой молчания, падением ниже последней черты.

Мы и сейчас продолжаем по инерции не жить, а выживать. Это какая-то затянувшаяся подготовка к светлому будущему!

Борьба за выживание - унижение для народа, страх, засевший в душе. Когда он поражает целое поколение, начинает передаваться по наследству. Если покончить со страхом в себе, то, может быть, спасем от него грядущее поколение. Нам выживать, а им - жить.

Поток третий:
КОГО И ЗА ЧТО

Женщины, у которых немцы убивали отцов, братьев, мужей, детей, эти женщины, завидев колонну пленных германцев, выносили картошку, свеклу, морковь и оставляли на капустных листьях у дороги. В глазах тех, для кого это было предназначено, была роковая неспособность понять движущую силу таких поступков. Так и должно быть, а почему? Так легко было спутать рабскость и сострадание, трусость и милосердие...

Я потом и у наших встречал такие глаза. Дубасили меня во время следствия, и один из «нигилистов» (так он себя называл почему-то) все норовил в дых сапогом. Очень ему это нравилось, и еще на плотку встать и давить, как бы говоря: «Вот я все могу, а ты, скот, не можешь дать мне в морду». Он бил меня за что-то, чего в нем самом не было, чего он сам не мог понять. Упрекать убийцу за то, чего в нем нет человечности - упрекать дурака за то, что в нем нет ума.

Над глубинкой в полный рост вставало раздувшееся от голода тело русского феномена: в побежденную Германию везли продукты и прочую помощь. А с запада на восток шли эшелоны, набитые вчерашними защитниками Отечества. Более удачливые слали домой подарки, кто-то даже ящиками или вагонами. В конце войны на территории Германии я был принят танковыми частями, пил с ними водку и ощущал неравенство страшное. Видел, как командиры посылали запечатанное в луковицы и в мыло золото...

Акценты смещались: врагами становились увечные и неудачливые. В сорок третьем, сорок четвертом годах стало много калек, этому не удивлялись, душу предохраняло время. Я с ними дружил. А к концу войны и после войны, когда они повылезали из всех щелей ползком, хромяя, на колясках и тележках - стали заметны по-другому. Их просто убирали, высылали подальше с глаз долой.

Вражеской становилась и многомиллионная армия агонизирующей безотцовщины. Скоро ей нашли «достойное» применение. Вся оккупированная территория была разрушена. Ее надо восстанавливать любой ценой, откуда-то взять армию новых строителей, которые бы валили лес, долбили руду, клали кирпичи...

Ужас и простота этого обстоятельства привели к людоедской политике. Бросили клич - выжигать каленым железом, хватать за бродяжничество, незаконное ношение оружия (валявшегося грудями везде), за воровство. Кого? Были орды бездомной шантрапы, брошенной на произвол судьбы, вынужденной себя кормить, греть, защищать. Выжившие в голоде и бомбежке, выплюнутые войной и расшвырянные по белому свету, они же оказались обречены на жерло лагерей.

Приняв знаменитый указ от четвертого июня сорок седьмого о борьбе с хищением государственного и частного имущества, отец народов убил двух зайцев: обеспечил рабочей силой самые гиблые места в стране и отреагировал на просьбу граждан обезопасить их от послевоенного воровства и бандитизма. Были ли среди них истинные преступники? Да, были... немного.

Система была простая: брали одного, били, он называл, часто наугад, еще двадцать пять... Позже я понял, что методы борьбы и с Бухариным и с беспризорником были одни и те же. БИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЛО СОЗНАНИЕ: за одного битого трем (тоже битым) давали на полную катушку. А за трех? Здесь - весь смысл. За проступок, каравшийся ранее месяцами, начисляли по десять-пятнадцать лет, без права пересмотра дела. Многие ли сегодня поверят в реальность печального Указа? А ведь именно по нему уходили сотни и сотни тысяч туда, где девяносто девять плачут, а один смеется - хозяин.

На предприятиях шли собрания, лекторы гремели гневными речами, набирали мощь групповые судилища. Разверстые пасти лагерей жаждали пищи. Распалось «общественное мнение», а о «попутно» осужденных и по ошибке казненных скромно умалчивалось.

...Народ требовал - партия и правительство откликались, опираясь на слепо-глухо-немые, околпаченно-ухайдаканные массы. Шла гражданская война против собственного народа. Общество отплясывало на костях.

В числе послевоенной пацанвы я был ввергнут в двойной обман. Школа рабизма втягивала человека в мясорубку, да еще заставляла соглашаться, что эта карта справедливая, что он преступник. И чем доверчивей, беззащитней был осужденный, тем сильнее он верил в свою преступность.

Сотни порченных пацанят сгоняли вместе, принуждали надеть на себя личину лагерников. Им ничего не оставалось, кроме как ощущать себя... волками. Повторяю - среди тех, кто попадал в облавы, были и воры, и насильники. Но не все. А давали всем - кому пять, кому десять, кому двадцать пять. От имени народа. Мракобесие народа - в готовности проголосовать за это и тем самым своих же детей послать на заклятие...

Система не изменилась с тех пор: все, что ни делается - именем народа. Это машина. Многие не сознавали этого.

На воле народ ослепленнее, чем в заключении. Мы там глубже все видели. Осужденные по уголовным статьям бунтовали в лагерях, а политические молчали - мол, мы и вообще не при чем. Даже Солженицын в «Архипелаге «ГУЛАГ» внушал, что если не за политику сидишь - ты дерьмо. А виновата была только машина.

...Страшное избиение видел в Харькове: человек кричал и испражнялся. И чем сильнее кричал, тем сильнее били - может, хотели заглушить крики, забив до смерти.

На Олпе в транзитной камере на моих глазах происходило мужеложество. Мужики насиловали мужиков, свои своих же, чтоб никто не жаловался, не «мутил воду», не искал правду, не стучал. В Соликамске хотели насиловать меня...

Жалость считалась среди заключенных преступлением. Нельзя было отделяться, уединяться, быть человеком, быть собой, грустить, задумываться... Требовалось быть массой, быть со всеми, всеми и никем. Кто сопротивлялся, того наказывали. Могли бросить на нары и насиловать по тридцать человек, пока не вывернут наизнанку.

Однажды меня, шестнадцатилетнего, в колонии Макаренко закрыли в тумбочку и сбросили с третьего этажа. И надо ж, ничего не случилось. А если бы и случилось, никто бы и не заметил. Мало ли нас убивали в заведениях печали!

На Олпе я согласился работать на ЧК. Сожалею, что так случилось, но не хотел, чтобы меня использовали, как это у чекистов

культивировалось. У меня не было ни малейшего желания издохнуть. Могу об этом заявить где угодно. Это была форма самозащиты плюс возможность кому-то еще помочь.

Оказался везучим. Меня не насильовали, не калечили. И я сам никого не убил, не изнасиловал. Хотя, конечно, языком болтал очень много.

1957-1958 годы... Приступ аппендицита у меня случился на этапе. Продолжал идти. Потом двадцать два часа везли меня с перитонитом на волокуше в лагерную больницу. Лошадиная доза пятипроцентного морфия, боль адская. Путь в лагбольницу был только один - через пересылку. С развороченным животом оказался в камере, битком набитой педерастами. Их заживо съедал сифилис. Это были преимущественно симпатичные молодые ребята, которых этапировали в отдельную зону. А попал я в эту камеру проще простого: пересылка была переполнена, и какой-то ухарь из писарчуков начертил на моем личном деле «сифилис», я потом сам читал эту надпись...

Не буду вспоминать все связанные с этим мытарства, в результате которых я отвалился почти девять месяцев, пережив несколько операций. Врач смотрел с жалостью: «Зачем жить такому?..»

Находясь незначительное время в коридоре, стал свидетелем разговора: молодую женщину в период следствия следователь склонил к сожительству. От него зависело, как пойдет следствие - быстро или затянется. Она забеременела. Сокамерницы научили ее сказать об этом следователю, чтобы шантажировать его, изменить ход дела. После этого она была пьяным следователем избита. Тут же ее отправили по этапу, в животе - мертвое существо. Она шла транзитом - жить ли, умирать - не знаю. Фантазмагории Босха и Гойи - кукиш для слепых по сравнению с такими реалиями.

Ворочала лопастями судьбомешалка, жевала, чавкала, выплевывала: Буреполом, Усольлаг, Ивдель, Нырб, Южкузбаслаг, Печора, Чукотка, Норильск... Звенели медали и наручники. Гремели победные марши, а на Дальзонах им вторили «дегтяри» и ППШ, поливая свинцом живой шевелящийся черномзем.

«Преступный мир истребит сам себя».

По этой знаменитой формуле жил разьедаемый пеллагрой и вами вертеп, где «скоты», изувеченные своими, чужими и еще раз своими, действительно истребляли себе подобных. Да, для нормального, не утратившего способности сострадать и ужасаться человека войти в этот скотомогильник было катастрофой.

Пока фальшивый голос будет нам нашептывать: «Ты не они» - в нашем обществе мало что изменится. И не надо, бога ради, восклицать: «Ах, молодежь, откуда такие ублюдки? Подкладывали под жар-птицу идеи золотые яйца гуманизма, а вылупились такие чудовища». Не надо себя обманывать. Нет лобового воспитания. Мы вкладываем себя сегодня в детей своих, а через их память - во внуков.

Мое поколение прошло через все - войну, голод, концлагеря, целину и стройки века, а в глазах общества остались подонками. Выросли без любви, без воспитания любовью, и теперь в детях нашего поколения взрываются мины этой нелюбви, несправедливости. Генетическая память подрывает не тех, кто минирует (то есть, сеет зерна зла), а совсем не подозревающих об этом потомков. Это не упрек кому-то, а мольба о сострадании - ко всем...

Мое поколение... Мы уходим из жизни как арестанты, на иллюзорную волю, ничего, кроме концентрационных лагерей, не теряя. Самосуды, судилища, издевательства, растления – вот что получили мы от общества по его просьбе. Без шор пришли мы в мир, и умирать будем спокойно, без политгипноза, в здравом уме. Говорить о пережитом тяжело, но и жить, когда видишь, что хаос безумия обретает четкие устойчивые формы - невыносимо.

Поток четвертый:
ЧЕРЕЗ ЧЕРТУ

Во всех лагах была одинаковая система уничтожения человека. Нужно было не просто рубить лес, колоть уголь, руду, корежиться в своем свинячем быту, нужно было помнить, что это навечно. То есть влезать в отмякшую за ночь робу, идти чуть свет на пятидесятиградусную стужу, смерзаясь с этой робой, добить ломом до полного отупения, до глубокой темени, чтобы свалиться, оттаивать. А с утра все сначала. Не день, не два, не месяц, не год, а годы, десятки лет. Сознание не могло переварить такое.

Там не то чтобы не хотелось жить, ТАМ хотелось не жить. Обреченность (ханавей) заставляла людей убивать себя всеми способами. Калечили себя, рубили руки (махнул топором-пальцы прыгали как живые), на известковых карьерах засыпали пылью глаза... Был такой Муценко - засосал измолотый известняк, вдохнул его, чтобы заболеть. Потом мы встретились с ним на зоне - он был уже полный наркоман. Желудочные капли на опиуме, симплекс, амнопон, пантопон, морфин, кодеин, табачный настой... Да гоняли по венам все, что горело.

Черту между жизнью и смертью перешагивали сознательно. Помню Мишу - он вышел к железнодорожной ветке, где ходил паровоз с пятью вагонами. Накинул фуфайку на голову - боялся увидеть себя мертвым! - и под паровоз бросился. Его в клочья развезло по шпалам. Двенадцать лет лагерей вынес, а оставшиеся два года ждать не смог. Он свой поступок продумал...

Но как миновало меня? Когда я смотрю теперь на себя прошлого, то подозреваю, что был в состоянии сна. Муторщины было достаточно, и момент мог назреть, как у многих, но я пропустил его. Организм потерял способность реагировать...

К черте был близок всякий, у кого рушились иллюзии. Все, кому до восемнадцати, попадали в колонию. Там было все так же, как в обычной тюрьме, только страшнее, потому что неуправляемо. Взрослые (не все) способны были как-то управлять собой, влиять, понимать. Для малолеток жестокость становилась обыденностью.

Однажды вохровцы привели в зону детей - выступать. Девочка годов шести взяла и запела: “Эх, трактор идет и бензином пахнет. Скоро миленький придет, через ... трахнет”.

У слушателей были натянутые улыбки. Как на это реагировать? Серьезно - нельзя, хотя на самом деле это слишком горько. Для девочки, у которой мама пила, имела не одного папу и выкрикивала подобное - это естественно, обыденно.

Однажды мы кололись вместе - Женя Усольцев, Витя Морозов, Толя Крапивин. Крапивин был на расконвоировании, и к нему как раз приехали на свидание, привезли эти желудочные капли на опиуме. Мы их вскипятили, прокололись по три куба примерно. И разошлись по баракам, это как раз было к ночи. Я очнулся-и голову не смог поднять с подушки. Волосы держали, они присохли к подушке, оттого что лилась кровь и рвота.

Это был не единственный случай. Хлебал и кололся я не менее трех лет. Считал себя настоящим наркоманом.

После выхода из лагеря была возможность достать морфин в больших количествах, но мне уже не надо было. Почему оторвался от наркоты? С одной стороны, много раз приходилось смотреть костлявой в глаза, это все же рождало противодействие. А с другой - нутром почуял, что дерьма накопил в себе достаточно - требовалось освободиться от него. Начал писать... а наркота и поэзия - не совместимо.

Смотрю по ТВ на современных наркоманов... Слишком много разговоров о том, что люди хотят уйти из-под власти наркотика и не могут, гибнут. Я считаю: если найдется линия, дело, что-нибудь, что они ставят выше - значит придет и спасение. Это всегда внутри человека.

... Порой снится - неужели до сих пор сижу?! Но тяжелее пришлось на свободе, когда увидел - КАК ХАЛТУРНО ЖИВЕТ ОБЩЕСТВО. Иные контакты ввергают в ужас. Нашел себе некто нишу, работает потихоньку, ест, размножается, в ухо ему не дует, и ладно. Только бы не проникаться, не думать ни о чем...

Он в этой нише и курит, и пугает, и фортку открыть не хочет. Он привыкает к обжитому пространству, создает себе атмосферу, теплую вонючую духоту, которая есть часть его самого. Откроешь фортку - думать заставишь. Мне показалось - да стоило ли ради такого дерьма терпеть столько лет?

Поэтому многие приходили к черте потом, пережив лагерь, не вынеся свободы. Такая судьба была как раз у Леши. Такая же - у Миши, который накиннул фуфайку. У всех, кто сворачивал в самообман.

А во мне стремление проследить процесс возникло давно - и когда знал стариков нэпманских времен, и когда жил среди урок, у которые свои не писанные законы.

У меня была потребность копаться в себе. Я менялся здорово, и оценки мои менялись. Как бы я раньше посмотрел на жулика, укравшего хлебные карточки? Как на подонка, обреченного на голод целую семью. Спустя какое-то время я уже смотрел на это как на ужас, двойное несчастье (ему тоже надо жрать) и на вора - как на страдальца, а не только как на монстра. То есть, все-все усложнялось...

Так урки утратили во мне урку, но не утратили мое сострадание. Я понимал - они более несчастны, чем я. И мне надо было идти дальше.

Каких было больше - тех, что поняли, или тех, что отказывались понимать, «накидывали фуфайку»? Да и тех и других было мало. Больше всего было - «ни то, ни се, будем как все». Перед такими вопрос черты не вставал.

Те же вохровцы имели сильнейшую иллюзию свободы, но на самом деле были оболванены сильнее, чем те, кого они охраняли, потому что верили, что служат правому делу. Несчастнейшие люди... Система была такая, что границу между более и менее оболваненными провести было невозможно.

Осужденные были заражены иллюзией свободы до такой степени, что, получив, наконец, эту свободу, оказались к ней не готовы. Мы верили, что выйдем и грянет новая жизнь, а в действительности получали удары под дых один за другим. На работу не брали. Сближаясь с людьми, мы имели возможность выбора-либо признаться, откуда мы, либо не признаваться. Признавшиеся видели в собеседнике искаженное лицо, и это был конец. Тот, кто отвергал нас, был заражен иллюзией, что он выше, чище нас, подонков...

Можно было не признаваться, сразу начинать врать, но тогда ложь, ее подоночный яд начинали травить изнутри, трудно было говорить и воспринимать правду. Леша Поварницын, корифан мой по лагерю (он вышел раньше меня на три года) вдруг начал писать мне с воли невообразимые письма – «все рушится, рушатся идеалы, что ж ты, мразь, говорил?...» Мне бы услышать за этими проклятьями глубочайшую растерянность, панику человека, у которого рухнули иллюзии... А я вдруг решил, что это продиктовано высокомерием вольного по отношению к зеку.

Леша в то время переживал трагедию, приведшую потом его к смерти.. В лагере гнал по вене все, вплоть до политани. Он хотел сделать революцию против государственного строя, но не знал, как, не смог прийти к тому, что оказалось бы выше отравы и погиб. Он был обречен, своего рода рак разъедал его душу. Придя, я застал его уже после того, как он встретил Нину, имел дочь - порождение столкнувшихся двух обманов. Они изначально не могли друг друга понять. Начались взрывы, вспышки, несогласие. Как же они истязали друг друга! Она при нем спала с другими. И уйти не мог тоже.

Кончилось гибелью от водки почти намеренной: сначала он (опохмелился ацетоном), потом она. Было ли чувство? Несомненно, да, но было и другое - два человека столкнулись с необходимостью стать другими. А как это сделать? Отсюда, из бессилия, и возник конец. Возможно, осознание себя как ничтожества, как мрази было началом изменения, но на большее сил уже не хватило.

...Порой мы неистовствуем, орем, друг из друга, валим матюги - но не из ненависти, из самозащиты, неумения стать другими... А заговорить бы по-человечески.

Любовь... Не признаю это слово как формулу для лунатиков. Вот корчит и ломает молодых для вылупления глаз, а под ними - железный закон природы, и он всем правит. Есть любовь или нет, все равно придет момент и будешь, будешь шпандорить так, что только треск пойдет. И шепки полетят!

Мое понимание? Два человека призваны Господом к действию, которое труд. Они должны посадить и вырастить молодое деревце, имя которому Любовь. Поливать его, ухаживать... но обязательно вместе. А если его постоянно выдергивать (ссориться, разводиться), и пытаться воткнуть снова, то ничего не выйдет, деревце засохнет.

1967-1968 год. Я был на поселении после лагерей - это поселок Глубинный Пермской области. И тут Она приехала. Я понял, что Она приехала ко мне. Сомнений у меня всю жизнь было полно. Вдруг не тот человек, не та семья? А кто же мне тот? Шаромыжник, собирающий бутылки? Да я что угодно буду делать, полезу на рожон, рубаху начну рвать на груди...

Поток пятый:

РЫВОК ИЗ ДИСКОМФОРТА

Писать - это значит загонять себя в самим собой созданный туннель. Что позади - не устраивает, что впереди - неизвестно. Кто пошел по этому туннелю, редко возвращается.

Я всегда чувствовал себя одиноким человеком, у которого украдена ласка. Недостаток, недобор, обойденность, нехватка чего-то самого важного... Неистово искал, с кем я мог бы откровенничать. Этот путь привел меня к стихам.

Году в сорок втором-сорок третьем, двенадцати примерно лет, я сидел в деревне в хате, а за окном была метель. Под впечатлением стихов Виктора Гусева: «А за окном седой буран орал. А за окном - заводы, снег, Урал...» стали складываться первые строки.

Это поразительно - через полтора десятка лет меня повезут на тот самый Урал под конвоем, но в сорок втором это было смутное ощущение, от которого появилось желание заплакать словами от страшного дискомфорта души. И от этого желания - к первой мохнорылой попытке.

Вопросов «когда, что, почему?» еще не стояло. Но была некая предыстория творчества: сделай что-то словами, и станет легче.

...Мы получали «высшее пенитенциарное» (исправительное - юридический термин) образование: буквы алфавита узнавали из переключки тюремных надзирателей. «На сэ есть, на рэ есть? Кто на хвэ?» - так выкрикали счастливых, которым носили передачи родственники. Грамотой овладевали в «индиях» - до дыр зачитывая обвинилки, прежде чем пустить их на курево. «Индия» - камера, в которой сидели те, кому никогда ничего не приносили. Арифметика - отсиженные и остающиеся по приговорам годы...

Последовал большой временный разрыв, но через годы желание выкричаться словами пробивалось снова. Непреходящая задвленность заставляла что-то корябать, как бы беседовать с самим собой.

А к осознанной литературе я пришел гораздо позже, в лагерях. Встал на конец доски, с которой больше не сворачивал... В зоне мы, несколько человек (в их числе Леха), поступили в вечернюю школу и уже этим отделились от массы. Мы много читали, спорили, мечтали. Васька Мамошин, например, изучал языки - французской, немецкий, а литературу и словари ему присылала мать, журналистка. У него был спичечный коробок с «зарядкой - скажем, сотня иностранных слов, он с этим коробком ходит, и то одно, то другое слово вытаскивает, посмотрит. Как убедится, что слово запомнил, перекладывает в конец. И так - пока вся пачка не отложится в памяти.

От них я получил поддержку. Они могли настроить, оценить мое творчество порой одним словом. Это было счастьем - такое окружение. Плоскоглазые просто не втягивались в орбиту.

В обиденности, о которой я уже сказал, я был не одинок. Как я уже упоминал, после войны у меня после войны пошла дружба с обрубками, с изуверченными... кого жизнь увечила до немоготы. Это тоже заставило вернуться к стихам осознанно. Информация о жизни была во мне так спрессована, что не найди я возможности от нее избавиться - она меня взорвала бы.

Что же произошло? Начав вроде бы говорить о себе, я почувствовал за собой многих и многих, вычеркнутых из жизни, подобно мне... Они со мной, смотрят в лицо, дышат в затылок:

«Скажи о нас. От того, как ты скажешь, зависит, какой ты сам».

Вспоминаю Ахматову: «Я была тогда с моим народом - там, где мой народ, к несчастью, был». Она была с народом, конечно, но я-то и был этот народ, который кнутами гнали. Мне не надо было искать темы, о чем писать. У меня просто выбора не было.

Я против того, чтобы сочинять, тащить за уши «нечто». Я за то, чтобы успеть случившееся пропустить через сердце и мозг и в доступной форме передать другому.

Вопрос стихотворной формы не был для меня главным. Размером если и занимался, то не ради него самого. Я как бы брал кусок стиха и вертел его, пока не чувствовал, что это то, что нужно.

В литературе мне проще назвать единомышленников (а не предшественников). Это Солженицын, Шаламов. В чем-то не согласен с Солженицыным, но не соглашаться с отдельными моментами - не значит отвергать.

Шаламова действительно люблю, это неоспоримое. Мы с ним шли в одном направлении, хотя и независимо друг от друга, и понимание задач литературы Шаламовым разделяю полностью... Я как-то нашел это в переписке Шаламова и Пастернака.

Шаламов крыл по-черному весь этот процесс писательства, чтения, понимания. Для нас это новая точка зрения, а мне это ближе всего. Приблизительно это звучит так. Реальная жизнь намногопрекраснее и отвратительнее, чем литература как занятие. По Шаламову, истинная литература - это анализ жизни, всего, что с тобой происходит, и через это - помощь другим...

Кто вел статистику о тех, кто ушел в землю, спился, чьими могилами отмечены погосты обширной Родины?

Поколение стремилось осознать себя и наткнулось на невозможность это сделать. О том, что болит - говорить нельзя, окружающие воспримут как ложь. То есть сказать правду - означало солгать. Так в душе накапливался клубок самосгорания... Сегодня - нет, уже вчера - настало время не просто вытолкнуть этот клубок, а весь его распутать, осмыслить.

На Урале была тупиковая ситуация: мое творчество никто не воспринимал. Одиночество полное. Душа обречена на медленное умирание. Кирыл. Только чтобы накинуть фуфайку, не думать, уйти от того, что невыносимо...

Жизнь подсказывает - рано или поздно все изменится, терпи. Но ничего же не меняется! Тут действует два износа, один на другой: износ чисто писательский, когда делаешь что-то и переживаешь опустошение, и второй - чисто бытовой, когда не то что цели, а даже видимость и смысл всякой цели пропадает. То есть громадный пласт человеческой и душевной энергии вырабатывается дочиста.

Всем тем, что осуществилось, обязан прежде всего Татьяне. Я всегда был недоволен тем, что делаю, а раньше это и выражалось позверски, - и жег, и рвал, и ел исписанную бумагу. Татьяна ухитрилась спасти все это.

Поворотным моментом была светлая история. Вадима Валерьяновича Кожина мы узнали по публикациям и, прежде всего по статье про Алексея Прасолова, рано погибшего поэта. (Кстати, мы с ними сидели в одном лагере «Красный берег» под Соликамском, но в разное время). По тем временам такая поддержка со стороны Кожина - была неординарная вещь, смелая.

В восемьдесят втором Татьяна Петровна поехала в Москву на курсы повышения своей газетной профессии и разыскала там Кожина. Отдала ему мои стихи и свое письмо. Вслед за этим я получил мощнейшую поддержку, первую и единственную в таком роде. Началась переписка, а потом... ответ Кожина на мой звонок из Перми: «Есть ли деньги на билет до Вологды?» Отвечаю: «Найдутся».

Я поехал... Там в писательской организации уже лежало письмо про меня. Так я появился в Вологде «с подачи Кожина».

Что-то сдвинулось с мертвой точки. Как обычно отвечают редакции? Либо молчанием, либо отказом, причем обоснованным: «Стихи хорошие есть, но подборка не складывается».

Когда Кожин посылал в Пермь рекомендательное письмо обо мне, в нем приводились слова Твардовского про Ваншенкина: «Здесь просто нет плохих стихов - либо хорошая рифма, либо прекрасная метафора...» - и в продолжение мысли, смысл такой:

«...К стихам Сопина все это не имеет никакого отношения, по той простой причине, что хорошая рифмовка или использование метафор еще не признак поэзии. Творчество М. Сопина отличительно тем, что у него есть генеральная дума, без чего поэзия немыслима».

В окончательной редакции того же текста рекомендации, но уже в Северо-Западное Архангельское издательство, Вадим Валерьянович имя Ваншенкина убрал. А про генеральную думу осталось, как и рекомендация публиковать.

Учитывая личность и авторитет Кожина в литературном мире, можно сказать, что это было подобно залпу «Авроры», прежде всего для меня, ну и для официоза, конечно.

...Трансформировалось окружающее, да и сам я тоже менялся все время. Но одно было постоянным: изумление без предела. Почему меня опять ударили? Почему в такой момент? Почему именно тот, кто дорог? И неужели я не мог это предвидеть, не чувствовал, неужели

не причастен к тому, что случилось? Поневоле плюсы превращались в минусы.

Вот он, процесс раздолбания и развенчания, вот что творится в тупике. Возможна ли такая ситуация, чтобы тупик рухнул? Разве что умом тронусь, крыша поедет.

Глупость или горечь жизни состоит в том, что взрослые люди, играя в идеологические или другие игры, не могут или не хотят понять другого человека. Что это за мелочь пытается там что-то прокукарекать?

Для меня - чем сильнее любая вера массового характера, тем трагичней жить в этой массе... Они дубасили меня, не подозревая, что отчасти становятся стимулятором моего противодействия. Давили во мне самую сердцевину, как тот самый «нигилист», что на глотку наступал. И все равно что-то оказывалось неубитым.

Вот, кажется: все сторит, все пепел. Ничего нет, все мертво. Но пока валяешься в каталепсии, пепел слеживается, твердеет, так что уже не проваливается, и на пепелище появляются всходы. Человек уже видит - загнанный в тупик, он пережил это, прополз через скверну...

И он трезвеет, садится и думает: что я такое? Кто меня бьет, за что? Что теперь исповедовать? Получается - человек человеку не друг, товарищ и брат, а козел вонючий. Да что это за люди, что это за общество? Неужели я - его часть? Но тогда они мне не враги, а товарищи по несчастью. И мой единственный выход - работать, делать то дело, которое только ты можешь... Доказывать, что можешь, и прежде всего не «брату-козлу», а себе.

Разум обязан научиться давать четкое и понятное название всему, о чем болит душа, любя или ненавидя бывшее. Иначе он до могилы обречен жить в мешанине прошлого, лишая себя опоры и радости в настоящем.

Галина Щекина
ГОРЬКАЯ ПОЭМА

Сотину

1

Перебранка шла, пикировка,
Отчего-то было неловко,
Отчего-то ранила сразу
Лишь одна нелепая фраза:
«Муж, которого посадили».
Как поспешно о нем судили
И хлестали - и те, и эти.
Пустота, пустота на свете.
Пересуды - морозным паром...
А в ночном троллейбусе старом
Загремели римские речи,
Завизжали шквалы картечи.
Он бурлил помпейскою лавой,
Угрожал общественной славой.
Ядовит, но точен о главном,
А вообще оказался славный.
Подступала злая минута-
И к нему пошли, не к кому-то.
На вопрос всегда многоточье,
И подарки разнес на клочья
Верх безумия и беспечность -
Матерясь, уносился в вечность.
Он великий, да и не очень -
Не стишками он озабочен -
Их держал, как гвозди во рту,
Их кричал в сивушном спирту.
Он ли падал - вор или князь -
Головою в мерзлую грязь,

Да в окурки снег и песок
Не его ль впечатан висок?
А людская память мелка -
Не простят его потолка:
Понимал поколение, век -
На родных не поднявши век.

2

Рванулся прочь от злобы и зверья,
Испил сырец - лекарство от печали -
Он свой среди подонков и ворья,
Едва от матери отчалив.
Учили бить и насмерть добивать -
Умел любить до лютого озноба.
До края неба криком доставать,
Идя от гроба и до гроба.
Пинком за водкой, как шлюшонку шлют,
Гонял он музу, девочку простую.
Сгустился взрыв, прощальный, как салют!
Сгорел, от жалости лютуя.

3

Он был черен, и худ, и ободран, -
Арестованным солнцем за тучей -
Был насмешливо легок и бодр он,
Невозможный, ничей, неминуемый!
Он родился, когда убивали
Среди горя и тленности выжил,
Рай мифический нужен едва ли
Ад кромешный привычнее ближе.

Так возник человек издалека -
 Вечный путник без сна и приюта,
 И повел он презрительным оком,
 Явно знак подавая кому-то.
 Подносили шипучие кубки -
 Отвергал и еду, и напитки.
 Признавал лишь отраву и трубку,
 Диких песен измятые свитки.

4

Поверьте жаль, что мне не суждено
 На пару с вами пить четыре белых,
 Но потрясение - стихом порождено,
 Как плетью дернет - сердце ослабело...
 Смутитель, хулиган - и в судный день
 Не очень-то покорный и приличный,
 Но что на тело птичье ни надень,
 Проступит кровью через ткань величие.
 До этих молний явно не достать,
 И клекоту не вторить щебетаньем.
 Колючий жар печатного листа
 Да сохранит от новых испытаний!
 Не стану врать, что знамя подхвачу
 Для прошлых и грядущих революций.
 Сквозь слезы улыбнусь щербатым блюдцем:
 Я до бессмертья вас застать хочу.

5

Добираюсь до вас только к ночи.
А насчет этой новой подборки -
Понимает вас тот, кто смириться не хочет,
Гениально от корки до корки.

Не волнуйтесь, зашла на минуту -
Вам оставить журнал и лекарство.
Мне назначено в шесть к институту
Страшный дождь и в дороге мытарство.
В перегруженной памяти вашей
Я осталась в заляпанных ботах
В детских двойках и рисовой каше -
Хохоча, и в слезах, и в заботах.

Но, скрывая тоску и усталость,
Удаляясь, как эхо аккорда,
Как собака с задумчивой мордой,
У двери я осталась, осталась.

6

Дождь и град - свинцовым соло.
Снег и ветер - треск одежд.
Да, умел ты быть веселым,
Не теряющим надежд -
В том краю колючих линий,
Где последний перевал.
В человеческой пустыне
Ты судьбу одолевал,
Глядя ей в пустые очи,
Выговаривал слова,
От которых кровь клокочет
И светлеет голова.
Мальчик в разбомбленном поле,
Ангел твой к тебе успел,
Чтобы ты в глухой неволе
Долю мытаря пропел!
Не сойдешь на полустанке
В огуречную грядку -
Там прошли чужие танки,
Там я мысленно пройду,
Потому что дни и годы
Догораем мы врозь,
На хрустальные погоды
Окончание пришлось.

7

Речь о реке – прародине отцов
Свернувшейся в холодное кольцо
Не на руке, на шее у страны
Под плач и вой, горячечные сны.
Речь о реке из берегов – навзрыд
Катящийся в столбцы и строки взрыв.
И о тоске по той реке уплывшим
Живым теперь – и прежде жившим.
В поток чужих страданий – взгляд с моста
И боль от попаданий тысяч ста,
Казненного пророка слово лишь -
Любви навек, как тюрем - не простишь.
Изгиб реки, что стылой бездной дышит–
В ней облака и сорванные крыши -
Изгиб руки у лба бессонной ночью
Мольба за жизнь, которая клокочет.

8

Ни плеску речному, где сонная рябь,
Ни блеску поляны, где бьют глухаря,
Не станете грохотом пули мешать,
Поймавшись на запах костра-кулеша.
Топчан. Холодильник. Оконный проем.
Машинка печатная, с нею вдвоем
Все курите “астру” от всех втихаря -
Вот ваше пространство, где годы горят.
Поэзово логово, с пепла начнись,
Летящего вниз, уносимого ввысь!
А дождь, нескончаемый дождь за окном
Напомнит пускай о потоке ином,
Бегущем на землю к той самой реке,
Где мы умираем от вас вдалеке,
И смотрим бессильно в оконный проем,
И в небе ненастном куда-то плывем...